



К

апли дождя сползали по стеклу, и мир снаружи казался еще более мутным, чем был на самом деле. Холодно и есть хочется, но денег нет. И вчера не было, и позавчера тоже, и завтра не будет. Фрау Марта неодобрительно косится, видать, подозревает неладное, того и гляди начнет спрашивать про обещанную плату или просто, безо всяких там вопросов, вышвырнет неугодного постояльца вон, а на следующий день приведет какого-нибудь наемника, что не до конца пропил награбленное серебро, или подмастерье, или монаха заезжего. Людей полно, а жилья нет.

Хотя, может, и не выгонит. Фрау Марта, невзирая на грозный вид, в душе была по-христиански милосердна, однажды даже угостила его куском почти свежей кровяной колбасы, продать которую не имелось возможности — крысы попортили.

Да, крыс тут много, особенно на чердаке, хотя, казалось бы, чего крысам на чердаке делать, когда тут ни еды, ни тепла. Правда, и кошка у фрау Марты сюда не заглядывает — брезгует.

— Лу-у-джи! — раздался снизу зычный голос. — Лу-у-джи! Спускайся!

Ну вот, похоже, день сегодня еще более неудачный, чем он предполагал. Луиджи ни секунды не сомневался, зачем его зовут. Разумеется, чтобы выгнать, а потому спускался он по узкой темной лестнице не спеша — куда торопиться-то, на дождь?

— Лу-уджи, ну что ты еле-еле шевелишься, — укурила фрау Марта. — Я зову, зову, а ты все не идешь. И господин, поди, уже заждался.

Вышеозначенный господин находился тут же, и почтительность, с которой фрау Марта взирала на посетителя, говорила, что человек это не простой, может, конечно, и не из знати, но богат, ибо богатство фрау Марта ставила даже превыше знатности рода.

Внешность гостя навела мысли об аскетизме, ибо подобное лицо более подходило святому отшельнику, нежели человеку знатному и не стесненному в средствах. Ввалившиеся щеки, пергаментно-желтая кожа, острый подбородок и недобрые глаза непонятного цвета. Однако же за свою короткую жизнь Луиджи имел возможность убедиться, что не всегда внешность человеческая соответствует качествам души, вполне возможно, что господин, явившийся в дом фрау Марты, по сути своей добр, набожен и милосерден.

Как и подобает святым отшельникам.

Улыбнувшись собственным мыслям, Луиджи поклонился.

— Добрый вечер.

— Имею ли честь лицезреть перед собой Луиджи Руджери из Тосканы? — Голос у господина был сух и неприветлив, под стать внешности.

— Да. Я и есть тот несчастный, который был вынужден покинуть солнечную родину только для того, чтобы...

— Тот ли ты Луиджи из Тосканы, о котором говорят, будто он алхимик, еретик и хриstopродавец, обменявший душу на мастерство?

Фрау Марта тихонько охнула, а Луиджи мысленно попрощался с каморкой на чердаке. Даже если его не арестуют по вышеозначенным обвинениям, то фрау Марта точно не захочет жить под одной крышей с еретиком. А господин смотрит выжидающе, и взгляд у него такой, что соврать ну никак не возможно.

— Люди говорят разное, — осторожно начал Луиджи. — И не всегда правду.

— *Истинно так, — согласился посетитель. — Однако когда до меня дошел слух о некоем итальянском мастере, способном при помощи кистей и красок сотворить настоящее чудо... к примеру, розу, которая, подобно живому цветку, распускается на рассвете, а при наступлении ночи лепестки осыпаются... но приходит рассвет, и роза цела.*

Фрау Марта мечтательно закатила глаза, видать, поверила. Все верят, Луиджи уже устал доказывать, что подобное невозможно с точки зрения науки, ибо настоящее чудо едино в руках Божьих. Несомненно, его Дева с розой была хороша, однако не настолько хороша, чтобы приписывать невесть что.

— *Или Дева Мария, что с наступлением Великого поста роняет слезы скорби о грешных душах... Говорят, что лик ее столь прекрасен, что всяк ее узревший разом очищается от грехов...*

— *Мадонна не плачет, а роза не осыпается, это всего лишь картины... изображения.*

— *Слухи? — Господин улыбается.*

— *Слухи.*

— *Но отчего тогда столь прославленный мастер вынужден владеть жалкое существование, недостойное его таланта?*

А потому, хотел ответить Луиджи, что святая инквизиция очень интересуется слухами, особенно такими, в которых фигурируют чудеса и обвинения в демонопоклонстве, хотя Господь видит, что Луиджи, может, и не святой, но точно не еретик и не христородавец. Он обычный человек, слабый, но какой уж есть. И хотя Луиджи не произнес ни слова вслух, но господин все понял и, небрежным жестом бросив на стойку увесистый кошелек, произнес:

— *Имею честь предложить тебе работу. И защиту.*

— *От чего? — Луиджи не находил в себе сил отвести взгляд от кошелька, мысли в голове были самые разные. К примеру, что монет, даже если внутри обыкновенная медь, хватит не на один день, а если серебро, то и на год, если же монеты золотые... а почему бы и нет,*

поздний гость фрау Марты, судя по одежде, богат. Если же в кошельке золото, то Луиджи до конца дней своих не будет ни в чем нуждаться. В животе заурчало... конечно, первым делом он закажет фрау Марте гуся, толстого гуся, фаршированного кашей, чтобы золотистая корочка, круглые озера жира на блюде и в них островами печеные яблоки...

— От людей. От слухов. От властей либо от тех, кто привык считать себя властью... Я предлагаю тебе безбедную жизнь и свое покровительство, взамен же прошу о сущей безделице... хотелось бы, чтобы ты написал портрет... вернее, два портрета. Беатриче и Катарина.

— Кто это? — Луиджи совершенно успокоился, ибо разве он сам не думал о том, кому бы предложить свои услуги и свой талант? Так стоит ли теперь, когда удача сама идет в руки, отказываться? Он хоть десять портретов напишет, лишь бы...

— Мои дочери, — ответил незнакомец.

Полгода минуло с того дня, как Луиджи принял приглашение барона де Сильверо. И вот, наконец, работа была закончена. Две картины, две Мадонны, две Девы, в равной мере прекрасные и несхожие друг с другом.

Мадонна Печального сердца, Утешительница и Заступница, чьи вишневые глаза взирали на мир с удивлением и укоризной, а на губах застыла неуверенная, чуть виноватая улыбка, словно Она знала о чем-то важном, но не смела рассказать. У Нее золотые волосы и лицо юной Катарины.

Вторую Мадонну Луиджи почтительно именовал Гневливой или Черной, в Ней не было ни тени девичьей кротости, равно же печали или скорби. В карих глазах — гнев, а в руках — Пламенеющее сердце и Меч. У этой Девы волосы черны, а лик преисполнен торжественной холодной красоты, свойственной Беатриче.

— Даже и не знаю, которая из них лучше, — сказал барон, прижимая руку к сердцу. — Они обе равны и невозможны друг без друга. Вы же, мой друг, не просто ма-

стер, но настоящий алхимик, ибо не способен человек обыкновенный заглянуть в душу... или нарисовать душу.

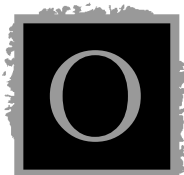
Луиджи молчал, ему было страшно, ибо чудилось, что и в самом деле удалось вытащить на свет божий нечто такое... невозможное. И неприглядное. А герцог не видит, от любящего отцовского взгляда ускользает то, что видно Луиджи. А может, ему всего-навсего мерещится незримая печать греха на золоте волос, похоть в кротости взгляда и боль в пламенеющем сердце?

И горечь в кубке с вином. Едкая, назойливая, расплазующаяся по телу горечь. Яд. Вино принесла Катарина, кубок — Беатриче. Белая Мадонна... Черная Мадонна... кто из них?

Тело, пронзенное болью, немеет.

— Б-будьте вы п-прокляты... Обе...

Александра



Ольгушку я встретила в санатории. Вообще-то это не совсем санаторий, а скорее дурдом, но дурдом комфортный. У меня он ассоциируется с зефиром, такой же воздушно-розовый, приторный и липкий. Розовые стены, розовая униформа персонала, приторные улыбки докторов и липкое, навязчивое внимание. Больше всего угнетало именно внимание.

...Сашенька, а не выйти ли вам в сад, посмотрите, какая замечательная погода...

...Сашенька, вы плохо кушаете...

...Сашенька, если вы будете и дальше игнорировать рекомендации Всеволода Петровича, то никогда не поправитесь...

Вернее, не так, здесь избегали слов «болезнь» и «поправиться», потому что считалось, что те, кому по карману «Синяя птица», совсем не больны, а... просто отдыхают. В санатории.

— О чем ты думаешь? — спросила Ольгушка. Вот уж кого пребывание в «Синей птице» совершенно не раздражало, Ольгушка была на редкость милым существом, добрая, покладистая, болезненно-впечатлительная. Ей даже медсестры улыбались не потому, что им платили за улыбки и вежливость, а потому, что любили.

Это она себя так называла. В первый же день в столовой она сама подошла ко мне и сказала:

— Здравствуй. Ты новенькая, да? А меня зовут Ольгушка.

И мы подружились.

— Ты снова молчишь, — Ольгушка вздохнула. — Ты все время молчишь и думаешь, думаешь и молчишь. Это плохо.

— Почему?

— Потому что в тишине появляются странные мысли. Я боюсь тишины, она стирает меня.

— Как стирает?

— Как ластиком. Или краски водой. Дождь идет, краски бледнеют, бледнеют, а потом совсем исчезают. И тишина меня исчезает.

— Глупости.

— Возможно. Я всегда говорю глупости. Я ведь сумасшедшая. — Она произносит это со всей возможной серьезностью.

На улице весна и воздух пахнет цветами... начало мая, солнце гладит кожу, и мне почти хорошо.

— Так о чем ты думаешь? — повторила вопрос Ольгушка. — У тебя счастливое лицо.

Ни за что бы не подумала. Счастливое лицо... хотя мама говорила, что я — прирожденная актриса.

Дура я, а не актриса. Обыкновенная дура, потому и сижу в этом, с позволения сказать, санатории, усиленно делая вид, что мне здесь нравится.

...Сашенка, не надо быть такой букой...

...Сашенька, почаще улыбайтесь, вам так идет улыбка...

А мне вообще все идет, даже эта долбаная розовая пижама. Вот Ольгушка в больничном наряде выглядит совершенно невозможно, кожа кажется болезненно-бледной, изуродованной на висках синими сосудами, глаза припухшие, то ли от слез, то ли от долгого сна, а длинные волосы собраны в унылый пегий хвост.

— Доктор сказал, что ты скоро уедешь... — Она

снова вздохнула. — И я тоже... я не хочу уезжать, но мама настаивает.

— Если не хочешь, то не уезжай.

Ольгушка грустно улыбается, и я понимаю, что она никогда в жизни не осмелится возразить матери.

— Я бы хотела быть такой же сильной, как ты. Не бояться. Знаешь, я ведь тоже пыталась... умереть, как ты, но струсила. Я всего боюсь, тишины, темноты и его тоже.

— Кого?

— Того, — Ольгушка переходит на шепот, — кто убьет меня. Ты можешь не верить, никто не верит. Я ведь сумасшедшая... тихая, но все равно сумасшедшая, а значит, ничего не понимаю. А я понимаю. Я прячусь, как умею, а он ждет.

— Чего? — Я тоже шепчу.

— Моего возвращения.

— Зачем?

— Чтобы убить. — Ольгушка произнесла эти слова тихо, настолько тихо, что я скорее догадалась, чем услышала их. — Стереть отражение... одна роза, один меч, одно сердце... и рыцарь тоже один. Рыцарь хочет стать королем и убьет принцессу...

Вечером я рассказала об этом разговоре Всеволоду Петровичу, не потому, что полагала, будто Ольгушка окончательно сошла с ума, а скорее наоборот — услышанное внушило мне беспокойство за жизнь нечаянной подруги. Пусть ее считают ненормальной, но и меня саму настолько часто клеймили этим словом, что я привычно отмахнулась от него. Ненормальная... в этом мире вообще не осталось нормальных людей.

Всеволод Петрович придерживался аналогичного мнения.

— Все это очень, очень интересно, Сашенька. И очень, очень хорошо, что вы решились рассказать мне. Очень, очень хорошо, что вы осознаете всю степень ответственности...

— Вы ведь оставите ее здесь?

— Безусловно, — пробормотал Всеволод Петрович, вытирая круглые стеклышки очков специальной мягкой тряпочкой. — Безусловно мне бы хотелось, чтобы Ольгушка осталась, тем более, что произошедшее наглядно демонстрирует, что в «Синей птице» она чувствует себя намного лучше, нежели в реальном мире... ее тонкая ранимая натура остро переживает мельчайшие неудобства, трансформируя переживания в образы... весьма, весьма любопытные образы. Защитник, рыцарь, доблесть, надежность и вместе с тем...

— Так вы оставите ее или нет?

— К сожалению, Сашенька, у нас коммерческое заведение, и мы не имеем возможности задерживать гостей, если их родственники не желают... оставлять их здесь.

— Вернее, платить по счетам.

Всеволод Петрович лишь развел руками. Ну а чего, собственно говоря, я ждала?

— Вообще-то полагаю, что причин для беспокойства нет, — мягко заметил Всеволод Петрович. — Это всего лишь образы, пусть даже весьма интересные... сами подумайте, кому нужно убивать Ольгушку, она такая милая, нежная, впечатлительная... чересчур уж впечатлительная.

— То есть ей показалось?

— Вполне вероятно, что некий мужчина, родственник, друг семьи... я не знаю, и это не суть важно... попытался уделить Ольгушке внимание. Это вполне нормально, она привлекательная молодая женщина, но, к несчастью, склонна несколько неадекватно оценивать происходящее вокруг нее.

— Хотите сказать, что ухаживание этого гипотетического мужчины она приняла за желание убить?

— Ее ухажер мог оказаться... чересчур энергичным для Ольгушки. Порывистым или, не знаю, ревнивым. Вы ведь знаете, на что способны мужчины в припадке ревности? А теперь представьте, как отреагирует Ольгушка в подобной ситуации?

Что ж, теория Всеволода Петровича была стройной и логичной, а главное, вполне уязвлялась с Ольгушкиным характером.

— И единственное, что могу посоветовать — забыть об этом разговоре, вот увидите, Сашенька, завтра она и сама не вспомнит... чужие фантазии — престраннейшая вещь.

Ночью я долго не могла заснуть, думая о том, стоит ли верить, а если стоит, то кому: Ольгушке или доктору?

Игорь



Тетин дом напоминал дешевую шкатулку, из тех, что продают на развалах: снаружи лак, блеск и яркая цыганская роскошь, а внутри — голые, чуть приглаженные шкуркой доски. На самом деле и внутри, и снаружи все выглядело одинаково прилично, но всякий раз, приезжая в поместье, Игорь не мог отделаться от навязчивого шкатулочного образа.

Тетушка, изображая радость встречи с любимым племянником, соизволила спуститься в гараж, и это свидетельствовало о том, что обстановка в доме была накаленной. В противном случае она в жизни бы не сунулась в это «мерзкое, грязное, вонючее место».

— Милый, как я рада тебя видеть. — Берта улыбалась. — Совсем забыл старушку.

Ну это она на комплимент напрашивается. Сегодня, как и всегда, при параде: огненно-рыжие кудри уложены в замысловатую прическу, морщинки тщательно припудрены, жирные черные стрелки придают глазам восточный разрез, а на тощеньком запястье позвякивают браслеты.

— Ну и как, надолго?

— Похоже, надолго. — Игорь, наклонившись, поцеловал белую, пахнущую ванилью и духами щеку. —

Здравствуй, Берта. Сама ведь знаешь про обстоятельства...

— Ах да, конечно, обстоятельства... всю жизнь только это и слышу. Если бы не обстоятельства, ты бы в жизни не приехал навестить старую, больную тетку, позволяя той задыхаться в этом гадюшнике...

Про гадюшник она вовремя вспомнила.

— Все уже здесь?

— Ну все — не все, но большая половина. О чем только думал твой дядя, составляя завещание... я абсолютно уверена, что он это специально сделал, чтобы отравить мне существование. Твой дядя, Игорь, был поразительным эгоистом.

Присказку про дядину эгоистичность Игорь слышал не единожды и потому лишь кивнул, впрочем, тетушке хватило и кивка:

— Нет, ну я понимаю, что если частная собственность, то частная собственность, а какая же это частная собственность, когда я не имею права распорядиться ею по своему усмотрению? Я ему так и говорила, а он мне что? «Берта, они мои родственники, и я не могу отказать им от дома...» Он, видите ли, не мог, так теперь и я не могу.

— Жарко сегодня.

— Твоя правда, дорогой, не припомню, чтобы в мае такая жара стояла. Это утомляет почти так же, как нытье родственничков. А все Дед, Бехтерины... фамилия... родовое гнездо... будь хорошим мальчиком, подай тетушке руку... я всегда знала, что Сабина совершенно не умела воспитывать детей... ты был таким хорошим мальчиком, таким вежливым, а теперь будто подменили...

Берта продолжала говорить, говорить, говорить. Игорь уже не слушал тетушку, не забывая, однако, соглашаться.

На первом этаже царил тишина, пустота и запах корицы — видать, Любаша опять затеяла пироги. Тетушка тут же воспользовалась случаем, чтобы пожаловаться.

— Пирог по воскресеньям. Боже, какое мещанство! Хорошо, хоть не с капустой, я бы умерла, если бы мой дом, любимый дом, в котором я была так счастлива, провонял капустой.

При мысли о пирогах с капустой желудок заурчал, напоминая, что завтрак остался в далеком прошлом, обед был пропущен, а до ужина еще жить и жить.

— Ох, милый, ты, наверное, утомился с дороги и проголодался. Если хочешь, сходи на кухню, пироги еще остались. Все, дорогой, иди, иди, отдыхай... только к ужину, чур, не опаздывать.

На кухне при пирогах обреталась Любаша, впрочем, она всегда предпочитала держаться поближе к пищеблоку, но при всем этом умудрялась выглядеть так, будто вот-вот умрет от истощения. Любаша мечтала стать манекенщицей, ненавидела слово «кобыла», свое имя и сестер, а также розовый цвет.

— Приперся-таки, — пробурчала она вместо приветствия. — Чай будешь? С пирогами?

— Буду.

— Чего старая карга хотела? — Бухнув чайник на плиту, Любаша достала из холодильника салат и холодные котлеты. — Высматривала тебя с самого утра.

— Пожаловаться.

— Господи, сколько она может жаловаться? Вот всю жизнь только и слышу, как тетю Берту что-то не устраивает...

Еда была вкусной уже потому, что хотелось есть.

— Тут это... — Любаша смутилась, что случилось с ней весьма и весьма редко. — Ольгу забирают.

— Сюда? — Котлета холодным комком застряла в горле.

— Ну конечно, сюда, куда же еще. Я им говорила, что идея дурацкая, но ты же знаешь...

— И кто же это придумал? — Не то чтобы приезд Ольги был такой уж неожиданностью — в доме периодически заговаривали об этом, — просто Игорю совер-

шенно не хотелось с ней встречаться. — Васька, да? Ну конечно Васькина, он же у нас христианин, мать его... милосердный и добрый.

— Ой, Гарик, да ладно тебе, перетерпишь как-нибудь.

Любаша достала кружки, не глядя, сыпанула растворимого кофе и плеснула кипятку. Игорь благодарно не стал напоминать, что предпочитает чай. Когда Любаша на взводе, ей лучше не перечить, а предполагаемый приезд Ольги взволновал сестру едва ли не больше, чем самого Игоря.

Впрочем, с чего ему волноваться? Да он в любой момент может собраться и свалить в город. Мать, конечно, расстроится, и тетка будет недовольна, да и Дед тоже...

— Но только не говори, что ты сбежишь.

— Любаш...

— И не ной. Ты встретишься с Ольгой и выяснишь все раз и навсегда. Я вообще не понимаю, как можно столько лет жить в подвешенном состоянии?

— Люб...

— Что «Люб»? Вот еще скажи, что я не права!

— Права, права, — поспешил успокоить ее Игорь. — Ты у нас всегда права. Только чего тогда нервничаешь?

— Кто? Я? — ненатурально удивилась Любаша. — Я вовсе не нервничаю... просто... личные неприятности. Лучше вон пирожок возьми.

От пирожка Игорь не отказался; если в этой жизни и осталось что-либо хорошее, то это — Любашины пирожки.

Левушка

Участковый уполномоченный милиции Лев Сергеевич Грозный страдал от безделья. В отведенном ему кабинете было пыльно, грязно и тоскливо. Выцветшие обои, зеркало — кому оно тут нужно, спрашивается, —

длинные хвосты «противомушиной» липкой ленты, темный стол с потрескавшейся полировкой и серые папки с матерчатыми завязками, на которых нагло развалился толстый серый кот по кличке Лорд Байрон.

До конца «приемного» дня — каждый вторник с девяти тридцати до семнадцати ноль-ноль, с часу до двух перерыв на обед — оставалось еще четыре часа.

Скукотища.

Разве ж об этом он мечтал когда-то?

Мечтал Левушка о подвигах, громких преступлениях и славе великого сыщика, а вместо этого сидел да в окно пялился, в глубине душе завидуя Лорду Байрону, у которого не было ни начальства, ни приемных часов, ни должностных обязанностей, зато имелось право на миску с молоком и наглость, чтобы получить все остальное.

Нет, сегодня определенно не работалось, ну никак, в голове каша, в теле лень... Левушка даже совсем было решил уйти домой — конечно, нельзя, но ведь если сильно хочется, то можно, — но, заметив в окно бабу Соню, мысленно поставил на отдыхе жирный крест. Сейчас снова начнет про самогон, про соседских коз, которые палисадник потоптали, про то, что Васька-тракторист жену поколачивает, а Виктория-разведенка мужиков оболъщает и потому точно ведьма.

— Лев Сергеич, Лев Сергеич... — баба Соня остановилась на пороге, переводя дыхание. Была она полна, круглолица и на вид совершенно здорова, хотя частенько любила сетовать на плохое самочувствие, сердце, почки, печень ну и далее по списку. При этом держала двух коров, пяток свиней, домашней птицы без счета и мужа-алкоголика, правда, тихого.

— Лев Сергеич... — Баба Соня сложила руки на мощной груди и, всхлипнув, пожаловалась. — Тама... это... мертвяк.

— Мертвяк? — Левушке показалось, что он ослышался.

— Как есть мертвяк... черный весь ужо, страшный, а волосья длиннющие.

— У кого?

— У мертвяка. По всему выходит, что баба это, хотя по размеру как дите малое, лежит, свернувшись калачиком...

И тут до Левушки дошло. На всякий случай он скорее прокрутил разговор в голове и даже переспросил:

— Значит, вы, Софья Аркадьевна, обнаружили тело?

— Ага. Только не я, а Федька мой... приходит и говорит, пошли, Сонька, я тебе чегой-то покажу, ну я, дура, и пошла...

— Куда?

— Та на болотце наше, до него, ежели от дома напрямки, то совсем близехонько, я ж туда постоянно хожу, ну и Федьку отправила...

Громкий вьедливый голос бабы Сони заполнил комнатуху, Левушка понял, что еще немного, и у него разболится голова. Хотя какая, к чертям, голова, когда труп обнаружили? И решительно поднявшись — баба Соня как раз перешла к описанию бедственного положения сарая, который непременно следовало законопатить мхом, который Федька должен был нарвать на болоте, — приказал:

— Ведите.

— Куда?

— К телу. Показывайте.

— А я ему говорю, Федька, ну куда ж тебя бесы в самое болото затащили, когда мох по краям растет? А он мне — сумку на дереве увидел, любопытно стало, чегой там вовнутри, а я вам скажу, что все беды от любопытства. — Баба Соня пыталась смотреть одновременно и на Левушку, и на супруга, который уже успел опохмелиться и потому отнесся к находке с философским безразличием, и на сам труп.

— Ох и страх-то какой... теперь ночью не засну... а и сердце разболелось...

Федька только хмыкнул. А Левушка, присев у страшной находки, рассматривал первый в своей жиз-

ни криминальный труп. Волосы и вправду длинные, темные, то ли от времени и воды болотной, то ли по природе таковыми были, кожа коричнево-желтая, вроде пергаментной бумаги, в которую нынче модно подарки заворачивать, а зубы почти черные.

— Ишь, скалитесь... — баба Соня перекрестилась и на всякий случай придвинулась поближе к супругу. — Ведьма, из городских, из этих, что на кладбище дом построили. От них все беды... а я как чуяла, ворону снила нынче, а после обеда куры подрались и собака в сторону леса выла...

— Цыц, баба. Не мешай человеку работать.

Диво, но Софья Аркадьевна послушно замолчала, а Федор, взбодренный такой нежданной победой, важно обратился к Левушке:

— Сумку ейную я так и не достал, тама вон висит, да, в той стороне, тока чуток правее, у кривой березки. Подойти близко не подойдешь, окно тама, затянет, но если аккуратненько веткой какой подцепить... Сонька, ты иди, иди, нечего тебе на страсти всякия смотреть.

Баба Соня нахмурилась: с одной стороны, ей не терпелось поделиться новостью с подругами, с другой — до жути хотелось поучаствовать в дальнейших событиях. Левушка решил чуть-чуть подтолкнуть ее в нужном направлении.

— Да, Софья Аркадьевна, у меня к вам огромнейшая просьба будет, позвоните вот по этому телефону, пусть приедут. Скажите, что убийство у нас.

— Убийство?! — ахнула баба Соня. — Это ж как убийство? Это что ж, не сама она утопла?

— От дура! Не видишь, что ли, руки веревкою связаны. — Федор сплюнул под ноги. — Иди давай, делай, что товарищ милиционер говорит.

— Убийство... Матерь Божья, заступница небесная... это что ж творится-то... что творится...

Ждать пришлось довольно долго, и Левушка успел изрядно промерзнуть — хоть и начало мая уже, но здесь, в низине, в темном ельнике весны пока не ощу-

щалось. Клочковатый, пропитавшийся талыми водами мох крепко держал холод, а новые ботинки — модные и в меру дорогие — были не той обувью, в которой можно было ходить по мокрому лесу. Федору-то хорошо, он в кирзачах и ватнике, стоит себе, опершись на чахлую березину, и смолит папиросы одна за одной.

И не противно ему?

Самому Левушке тоже не было противно, ну разве что самую малость.

— Молодая совсем, — буркнул Федор.

— Молодая. Знаешь ее?

— Неа, из этих, видать, из городских, вона каблучищи какие.

Левушка поспешил согласиться, кляня себя за невнимательность — это ему следовало обратить внимание на обувь девушки, вернее на то, что от этой обуви осталось. Босоножки, наверное когда-то белые, дорогие, теперь выглядели жутковато. Длинные — или правильно говорить высокие? Левушка не очень хорошо разбирался в женской обуви — шпильки угрожающе торчали из бело-розового мха, а из открытого мыска выглядывали побуревшие пальчики.

А на ногтях у нее красный лак...

Левушка ощутил, как к горлу подкатывает комок тошноты.

— Ты б пошел, воздухом подышал, что ли? — предложил Федор, прикуривая очередную сигарету. От вонючего дыма разом прояснилось в голове. — Что, раньше таких не видал?

— Нет.

— А я видал. Эта еще ничего, нормальная... тут раньше болота были, а в пятидесятых осушать стали, вот тогда, я тебе скажу, повидал такого, что до сих пор снится. Мелиорация, техника, вперед, к светлому будущему... а когда твой экскаватор из канавы вместе с грязью подымает труп, или два, или три... и у соседа твоего то же самое, и у его соседа. Мертвое болото, слышал? Хотя навряд ли, молодой больно. — Федор выдохнул сизое облако сигаретного дыма и закашлялся,

а откашлявшись, продолжил: — Тормознешь машину, стянешь тело в сторону, противно, конечно, но и останавливаться нельзя, дело-то превыше всего. А чтоб не так противно — самогоночки. Без литру на работу не выходили. Ох, я скажу, и время было... целое кладбище вскрыли, там тебе и фашисты, которые до наших мест добрались, и другие, которые вроде и не фашисты, но и не наши уже — враги народа. Местные-то, когда трупы пошли, начали перешептываться, дескать, ничего хорошего из мелиорации не выйдет, потому как земля проклятая. А дед один, бедовый был, ни бога, ни Сталина не боялся, так рассказал, что перед войной самой сюда частенько машины приходили. Станут на опушечке, оцепление, как положено, с собаками и автоматами, выставят... хотя и без оцепления в эти дни на болота никто не совался, все ж понимали, чего это за машины. И я понял, когда первого вытащил... они ж в воде почти и не меняются, так, почернеют, а выражение лица-то остается. Мне все казалось, будто они глядят... выискивают, на ком злость сорвать, кому отомстить... вот не поверишь, я сначала полотенце на лицо накидывал — специально возил с собою, — а уже потом вытаскивал, и так, чтоб мордой вниз, чтоб не увидели. А они все равно видели, даже через полотенце, по ночам приходили, спрашивали, за что их. И чего мне ответить было?

От рассказа Федора стало по-настоящему жутко, Левушка и представить не мог, что в жизни случается такое. Нет, он, конечно, слышал и про репрессии, и про массовые расстрелы врагов народа, и про лагеря, но... все это было таким далеким, облаченным в черно-белые кадры хроники, пережеванные и переваренные многочисленными передачами «об ужасных тридцатых», приправленным «сенсационными» открытиями и оттого совершенно нестрашным.

И тут оказывается, что прямо на этом самом месте, где Левушка стоит и мерзнет, когда-то расстреливали людей. Ну или не на этом самом, может, чуть правее или левее, вон под той березой.

А Федор молчит, и Левушка, не выдержав молчания, задает вопрос.

— И что с ними делали?

— С кем?

— С телами. Ну, которые выкапывали.

— Не знаю. Наше дело маленькое — доложить, а там уже другие занимались. Нам же лекцию прочитали про то, что партия лучше знает, каким путем и куда двигаться. Да ты не бери в голову, Сергеич, твоя-то к тем делам отношения не имеет, свежая больно. Видать, по осени ее тут притопили, ну или под конец лета... осенью другую обувь выбрала бы. Точно, летом... дождей-то много было, топко, ну и решили, что с концами, а теперь подсыхать стало, так она и поднялась.

С тем, что стало подсыхать, Левушка не согласился — какой подсыхать, когда чуть шагни в мох и воды сразу по щиколотку.

Глянув на часы — уже почти полтора часа прошло, — Левушка подумал, что стоять здесь не только вредно для здоровья, но и глупо. А вдруг эти, из района, еще через часа два приедут? Или вообще завтра? У них там вечно проблемы то с бензином, то с людьми, то еще с чем-нибудь жизненно необходимым. Но не бросать же тело, а трогать его Левушка права не имеет, равно как и уходить с места происшествия — баба Соня небось моментом про труп растрепала, стоит уйти, так сюда целая толпа любопытствующих потянется, все что можно позатопчут.

Но холодно же...

Год 1880-й

Он лежал на кровати, вытянувшись, раскинув руки, задрал голову, бледное горло с легкой синевой свежесбритой щетины, острый кадык и непристойно длинные для мужчины ресницы. И кровь, много крови, слишком много, настоящее багряное море...

Море безумия.

Вдова тут же, бледна, но держит себя в руках, в обморок падать не собирается, хотя при таком-то зрелище... даже врачу не по себе, и сам Амелин борется с дурнотой.

— За что она его? — Голос у вдовы тихий, взгляд растерянный, а кружевной платок в руках дрожит. Вывести бы из комнаты... — Анастаси безумна, но... безвредна.

Безвредна. Амелин вздохнул и, вытащив платок — самый обыкновенный, хлопковый, — вытер пот со лба. Ну хоть убей, не понимал он подобного отношения... коли безумец, так держать надобно отдельно, желательно, чтоб взаперти, под присмотром, а то «безвредна»... вона здорового мужика зарезала, весь живот распорола да и сердце вырезала.

Глянув на темный комок плоти, лежащий рядом с кроватью, Амелин судорожно сглотнул, ну не укладывалось подобное в его голове.

— Она... она сестра мне, — вдова точно оправдывалась, имя у нее доброе — Елизавета, и сама собой пригожа, не старая, в самом цвете, и такая беда... Жалко бабу.

— Она добрая была, рисовала... хотела, как на картине... чтоб Мадонной. Отец из Пруссии картины привез... отец умер. И маменька тоже... не смогла одна жить, в одночасье сгорела... теперь и Дмитрий.

Все ж таки вдова не выдержала, разрыдалась, и Амелину пришлось долго и неуклюже утешать.

— Мы с детства вместе были... как отражения... а потом она заболела и стала такой. Но доброй, понимаете?

У доброй безумицы вишнево-черные глаза, бледная кожа, темные волосы... вид мирный, даже умиротворенный, вот только платье в крови, и руки, и на подбородке красное пятнышко.

— Я хотела, чтоб как она быть, — женщина улыбалась, и эта легкая, светлая, лишённая тени разума улыбка совершенно не вязалась с вырезанным сердцем.

— Она — это... — вдова снова всхлинула. — Пои-демте, я лучше покажу...

В гостиной сумрачно, за окнами сиреневым светом догорает день... а еще назад ехать, и с сумасшедшей этой решать чего-то... и с телом. Порой Амелин начинал тихо ненавидеть свою работу, что доставляла большие неудобств, нежели выгоды.

— Вот они, — вдова дрожащею рукой зажигала свечи. — Мадонна Скорбящая и Мадонна Гневливая.

Амелин принял из хрупкой руки Елизаветы тяжелый канделябр, поднес поближе к картинам и едва не выронил от неожиданности: печально и строго с холста на него взирала давешняя безумица, протягивая людям то ли объятые огнем, то ли исходящее кровью сердце.

— Анастаси всегда была немного странной, — вдовица подошла к портрету, на который глядела со странным выражением почтения и ненависти. — Но чтобы убить... Скажите, как мне быть? Ее ведь не осудят, правда? Она не ведала, что творит... хотела быть похожей... отражение... вечная борьба зеркал за право быть собой...

Амелин тихо вздохнул, отступая, не то чтобы он боялся Елизаветы, но... сумасшествие заразно, а эти странные речи...

— Вы ведь увезете ее? Умоляю... у меня дети, я боюсь одна оставаться! Я заплачу, сколько скажете, столько заплачу, только заберите! Подыщите клинику, врача... я не знаю, лишь бы не видеть!

Закрыв лицо руками, вдова зарыдала, Амелин же тихонько вышел из комнаты. На дворе уже ночь, и уезжать пора. Клинику он подыщет... но все ж таки до чего беспечны люди, вот он в жизни не стал бы держать в доме ненормальную.

Александра

К завтраку Ольгушка не вышла, чему я, честно говоря, обрадовалась, все-таки решение откреститься от разговора отдавало трусостью и эгоизмом.

Ну да, я — закоренелая эгоистка, меня с детства в этом упрекали. А после обеда появился Папик, и стало не до Ольгушкиных проблем — свои появились.

— Ты чудесно выглядишь, — соврал Папик, но целовать не стал. — Это тебе.

Букет был красивым и дорогим, в рамках установленных правил, и я, в рамках тех же правил, восхитилась и поблагодарила за внимание. Господи, до чего же тошно...

— Как ты себя чувствуешь?

— Замечательно.

— Я рад... очень рад. Ты ведь больше не будешь делать глупостей?

— Не буду.

— Замечательно. Всеволод Петрович говорит, что ты можешь уехать в любую минуту, но я оплатил до конца недели.

— Спасибо.

Папик кивнул, признавая, что он и в самом деле такой, заботливый и внимательный, не только за психушку платит, но и навещает меня. Цветы вон привозит... хотя на Папика грех жаловаться, по сравнению с некоторыми мой — настоящий ангел. Этаким сорокасемилетним херувимом с блестящей лысинкой, одышкой, ревматизмом и простатитом, который, однако, совершенно не мешает папику тратить бешеные деньги на мое содержание. И дело не в безумной любви или кризисе среднего возраста, дело в престиже. Человек его достатка и положения просто обязан иметь любовницу, молодую, красивую, с высшим образованием... требований много. К примеру, я знаю несколько языков, неплохо играю на фортепьяно, разбираюсь в немецкой философии и русской литературе Серебряного века... это как медали у породистой собаки — чем больше, тем лучше.

— Сашенька, зайка моя... солнышко... понимаешь...

Ну вот, все-таки это произошло. Я, конечно, предполагала, но, когда Папик заплатил за «Птицу», понадеялась, что...

— Ты только не нервничай... тебе вредно нервничать...

— Сереж, я не нервничаю и не собираюсь устраивать истерику. И глупостей не наделаю, честное пионерское. Только давай откровенно. Ты нашел новую девушку?

— Н-ну... да.

— Хоть ничего?

— Хочешь, познакомлю?

Предложение было вполне в духе Папика, добрая душа, считающая, что все вокруг должны жить в мире и дружбе. Непонятно, как с такой установкой он деньги зарабатывал, хотя по молчаливой договоренности вопросов бизнеса я не касалась, а Папик в ответ не лез в душу.

— Да нет, спасибо. И когда мне переезжать?

Наверное, следовало бы закатить истерику, напомнить о годах, прожитых в любви и согласии, о собственном бедственном положении, о данном когда-то обещании заботиться... женщина всегда найдет, о чем напомнить. Но, во-первых, это было бы нечестно по отношению к Папику, а во-вторых, ну не умела я давать на жалость.

— Сашенька, — Папик прижал ладошки к сердцу. — Я знал, что ты меня поймешь, ты всегда была очень рациональной особой... порой даже чересчур. Что касается переезда, то как мы с тобой и договаривались, я приобрел квартиру, две комнаты, приличная площадь, тихий район, недалеко от центра. Тебе понравится.

Конечно, понравится, выбирать-то не из чего, хотя нужно сказать спасибо, договаривались-то мы на однокомнатную.

— Основной ремонт сделан, об отделке сама договоришься, все уплачено, если будет мало — позвонишь, добавлю.

— А не боишься, что я за твой счет золотым унитазом захочу обзавестись?

— Ты? Нет, Сашенька, только не ты, воспитание не позволит.

— Воспитание... ну, понятно. — Разговор меня тяготил, и не столько фактом разрыва отношений, сколько тем, что я не знала, как поступить дальше. Снова кого-то искать? Приспосабливаться к жизни с совершенно посторонним человеком? К Папику я за годы нашего знакомства привыкла и уже считала его чем-то постоянным...

— Может, на фирму пойдешь? Ну, к примеру, секретаршей или менеджером каким... ты умная, справишься.

— Спасибо.

— Спасибо «да» или спасибо «нет»? — уточнил Папик, во всем, что касалось работы, он был конкретен и въедлив.

— Наверное, пока нет. — Работать в его фирме, где каждая собака знает, что я была его любовницей... нервы у меня не настолько крепкие. Да и самоуважение не позволяет принимать подобную помощь. Насчет квартиры — договаривались, а вот насчет работы... я уж как-нибудь сама. Папик понимает отказ по своему и огорченно качает головой:

— Все-таки обижаешься. Ладно, я пойду, дела, сама понимаешь. Если вдруг чего — с работой там помочь или что другое — звони, не стесняйся. Да и просто так звони, поболтать.

— Обязательно... как-нибудь потом.

В другой жизни — это я не произношу вслух, иначе Сергей окончательно разобидится, а он ни в чем не виноват. Он вообще хороший человек.

А я? Не знаю.

Мать считает меня равнодушной, аморальной и жадной до денег, сестра — обыкновенной стервой, муж сестры — стервой богатой, с которой не грех стясти пару сотен на родственные нужды. Иногда я тихо радуюсь, что отец умер, иначе назвал бы распутную дочь куда более емким словом, тем самым, которое мне однажды на капоте нацарапали.

Шлюха.

А я не шлюха, я — содержанка. Какая разница? Для меня огромная, для моих родных — никакой.

Цветы, освобожденные из целлофанового плена, ничем не пахли, и из-за этого букет выглядел ненастоящим, почти как вся моя жизнь: со стороны красиво и даже завидно, а на самом деле тошно.

Тошно было с самого начала, и с каждым годом отвращение накапливалось, накапливалось, будто пушистые клочки пыли под диваном, а однажды пыли стало слишком много, я вдруг поняла, что не могу дышать от ее избытка, и сделала глупость.

Что может быть глупее неудачной попытки самоубийства? Уходить из мира следует в порядке очереди.

— Александра, опаздываете на обед, сегодня замечательные оладьи с земляничным вареньем... — Медсестра, заглянувшая в палату, улыбалась так искренне, что мне стало совсем нехорошо. — Ой, вы что, плачете?

Кто, я? Только сейчас, после вопроса, замечаю, что я действительно плачу. Сажу в бело-розовой зефирной палате и реву, как дура.

Дура и есть.

Игорь

Игорь, понимая, что в доме ему отдохнуть не дадут, трусливо сбежал в сад — беседовать с милыми родственниками не было ни сил, ни желания. А в саду хорошо, спокойно, можно полежать в гамаке, вслушиваясь в томное жужжание пчел, и помечтать, что на самом деле все замечательно и никаких проблем нет.

Есть.

Ольга. Проблему зовут Ольга, точнее, Ольгушка, и она скоро предстанет перед ним воочию. Хотя, может, права Любаша, и следует выяснить все раз и навсегда?

— Игорек, ты тут? — Сладкий голосок матери наконец убил остатки спокойствия, ну, сейчас начнется...

— Я знала, что ты здесь. Ну поцелуй же маму, будь хорошим мальчиком. И вообще с твоей стороны